

Е. ЛУНДБЕРГ

Поэзия З. Н. Гиппиус

I

Noch wenig Zeiten,
So bin ich los,
Und liege trunken
Der Lieb' in Schoss.
Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut,
Zu Balsam und Äther
Verwandelt mein Blut.
Ich lebe bei Tage
Voll Glauben und Mut,
Und sterbe die Nächte
In heiliger Glut.

*Novalis**

Стихотворений у З. Гиппиус немного — всего две книжки. Тема их одна, легко определяемая благородными словами двух «посланий»: «великий грех желать возврата неясной веры детских дней» и «будет тем светлей душа моя, чем ваша огненной дорога». Первый томик стихотворений собирался в течение пятнадцати почти лет, по несколько пьес в год. Очевидно, над поэзией Гиппиус тяготели другие законы, чем над ее прозой. И форма и мысль здесь обусловлены строгой необходимостью, а не произволом. Прозу можно бы «сделать» и лучше и хуже, богаче вымыслом и беднее, а стихотворения пишутся так, как пишутся.

* Недолго был я свободен и опьянен счастьем любви... Я чувствую омолаживающий поток смерти, бальзам и эфир преображают мою кровь. Я живу днем, полный веры и мужества, и умираю ночами в священной жаре.

Новалис. Четвертый Гимн к ночи

Мерки для них нет. Прозу вызывает к жизни мысль Гиппиус, а стихотворения — не столько ее созданыя, сколько знаки, что этой мыслью кто-то иной в Гиппиус живет, и она успевает лишь передать свои недоумения, радости и печали, вызванные движениями того, кто, как дитя в утробе матери, владеет ею. Его рост — ее радость. Его увядание — ее боль. Разница лишь в том, что дитя *менее* матери, а сила, владеющая творчеством поэтессы, более ее, ибо определяет творчество, сама же этим творчеством не определяется.

В своих стихах Гиппиус не притворяется знающей; мало убедительные «потому что», «надо» и «у нас есть сознание», обычные в ее статьях, забыты, ибо тот враг, с которым ей больше всего приходится бороться, неуязвим этим оружием. Враг этот — она сама, и его не свяжешь заклинаниями. Она движется не потому, что у нее есть цель, а потому, что она не может не двигаться. Ее грехи и слабость — то поле, которое нужно обработать. Хорошо помолиться перед работой, молитва дает твердость руке и ясность глазу — но не молитвой, а плугом, и тяжело-упертыми руками, и склоненной головой отличается трудящийся от праздного. Ее грехи и слабость — камень, которого она не могла сбросить в начале пути и который научилась нести. Нельзя хотеть камня, и те, кто проповедует благость камней, лгут. Но можно перенести внимание с тяжести камня на те изменения, которые он произвел в походке, в стати, в дыхании и в мыслях. Изредка Гиппиус приостанавливает свою работу, чтобы спросить, куда ее ведут и кто с нею, чтобы рассказать спутникам, как ей бывает хорошо и как бывает трудно. Иногда она плачет и ищет слов для волнующих просьб — не столько об избавлении от себя самой, сколько об окончании заданного ей урока. У нее самой нет «ни воли, ни умелости», «ни ясности, ни знания, ни силы быть с людьми, ни твердости, ни нежности, ни бодрости в пути».

*Господь, мои желания,
Желания прими.*

Пока Гиппиус занята своим дневным уроком, она — истинный поэт. Когда же ударяет час итогов, изящество ее негромкого стиха сменяется прозаизмами.

Она не уверена, удастся ли слиться с Ним, с Сущим, «в цепь одну, звено в звено»:

Значит, рано, не дано,
Значит, нам — не суждено,
Просияв Его огнем,
На земле воскреснуть в Нем, —

и смиренно, и певуче, и пленяет тонкое мастерство этих «н» и «о», противопоставленных остроте «просияв» и «воскреснуть». Но вот итоги труда — не религиозно-общественной пропаганды, и не литературного, — а глубочайшего *ее* труда, *ее* урока.

Три раза искушаема была Любовь моя.
И мужественно борется — сама Любовь, не я.
Вставало первым странное и тупо-злое тело.
Оно — слепорожденное — прозрений не хотело.
И яростно противилось и падало оно,
Но было волей светлою Любви озарено.
Потом душа бездумная — опять слепая сила —
Привычное презрение и холод возрастила.
Но волею горячею растоплен колкий лед.
Пускай в оврагах холодно — черемуха цветет.
О дважды искушенная, дрожи пред третьим разом.
Встает мой ярко-огненный, мой беспощадный разум.
Ты разум человеческий, его огонь и тишь
Своей одною силою, Любовь, — не победишь.
Не победишь, живущая в едином сердце тленном,
Лишь в сердце человеческом, изменном и забвенном.
Но если ты не здешнего — иного сердца дочь —
Себя борьбою с разумом напрасно не порочь.
Земная ярость разума светла, но не бездонна.
Любовь, ты власти разума, как смерти, неподклонна.
Но в третий час к Создавшему приникнув воззови, —
И сам придет защитником рожденной им Любви.

Все прозаизмы, скупость в красках и сухая отчетливость плана в этой вещи необходимы как признаки сознательного подчинения души железным требованиям «веры». В шествии по ступеням совершенства нет ни радости, ни удовлетворения. Оно от начала до конца — принуждение, как принужденно связаны между собою строки «Третьего часа». И это не плохо. Так надо. Если бы в Гиппиус было хоть что-нибудь, что бы она решилась оставить нетронутым в своем походе за золотым руном богопознания, ее поэзия была бы легче и свободнее. Но ей приходится жестокими гвоздями сколачивать, перехватывать скрепами, соединяя в одно две противоположные силы, обычно разрывающие ее лирику на две очень неравные доли: проклятия себе и молитвы Вышнему. И таково чудо искусства — в «Третьем часе» эти силы не примирились, не уступили друг другу места и не слились. Они лишь уравновесились на час, под суровостью молота и скреп, вопреки действительной возможности, уравновесились так, что схема отдающего гностицизмом, очень мало христианского христианства стала казаться более реальной, чем вошедшие в нее элементы — правдивые записи борющегося себя духа.

II

Мы воспользуемся «Третьим часом» как путеводителем по лирике Гиппиус.

С чем начала она раньше всего бороться? Она — ни с чем, это любовь в ней борется. На себя надежды мало. Но кто-то, неведомый или порою ведомый, зажег в ней светлую точку. Ее заслуг нет, ее воли нет. Не она живет, а ею живет некто. Но не он один в ней. Он — друг, а есть и враги.

Странное и тупо-злое тело — виновник бессилья, гаситель пламени. Ему посвящено, особенно в первые годы творчества, Гиппиус много страниц.

Тело — раньше всего: смерть. Затем любовь. Затем простая любовь ко всему, кровная связь с вещами и людьми.

О смерти Гиппиус рассказывает совсем по-особому, ни на кого не похоже. Когда-то раз, правда, на заре ее творчества, вероятно, одновременно с «цветущими яблонями» и с «мисс Май», мелькнула пантеистическая догадка о жизни после смерти «в дыханье ветра, в солнечных лучах», в море — «бледною волною и облачною тенью в небесах», но то был просто опыт, перепев. Очень скоро Гиппиус пытается, обесценивая жизнь, обесценить и смерть, сравнить порог между жизнью и смертью, уподобив последнюю сну. Она приводит смерть к тому часу существования, когда, как бы ни душила жизнь, «уже не душно, достигнута последняя ступень»:

И — если смерть придет — за ней послушно
Уйду в ее безгорестную тень:
Так осенью светло и равнодушно
На бледном небе умирает день.

В тех же тонах написана превосходная «Осень», называющая бессмертье мукой. Идеи христианского воскресения Гиппиус еще не коснулась. Будущее представляется ей лишь скучным продолжением скучного земного бытия. «Смертная надежда» уступает место ясно выраженному буддийскому успокоению. Но в нем уже можно подметить зерна будущего мировоззрения. Борьба Гиппиус с земным, ее окованность космической скукою не беспредельны. Как бы она тщательно ни вывела свои упования за пределы земного, окончательно погасить их ей жаль, она неопределенно надеется на продолжение, а губы лишь по неведению произносят слова о «муче бессмертья».

Так же поступила Гиппиус с любовью. На земле она ее не оставит: «Аньес, Аньес, я только края коснусь скользящим поцелу-

ем». Земного здесь — только жест идейного и неидейного кокетства. Гиппиус пытается связать любовь со смертью. «Люби меня, когда меня не станет», — но все-таки — люби; это не буддизм; здесь есть длительность, продолжение, какая-то духовная сокровищница, «кивот завета» любви. Или она радуется тому, что любовь выше изменчивости слов и неверности дней. Настоящей глубокой интимности, тех неуловимо прекрасных и последних черт высшей достоверности, которые делают произведение «вечным», мы не видим в известнейших стихотворениях Гиппиус, посвященных любви. «Душа одна — любовь одна». «Любовь одна, как смерть одна». Баллада о русалке — только баллада, хотя эпилог ее и обещает так много: «и вечно любить нам дано, — потому, что здесь мы любя — неслиянны». Превосходны первые строки стихотворения «Коростель»:

Горяча моя постель...
Думка белая измята.
Где-то стонет коростель.
Ночь дневная пахнет мятой, —

а дальше все та же сентиментальная сказка, поэтический догмат — неслиянности. Но наряду с этими произведениями, которые я бы охотнее отнес к прозе, если бы они не были написаны стихами, есть одно, спокойное, сосредоточенное раздумье которого дороже целого цикла откровений бесплотной влюбленности. Называется эта вещь «Ты любишь?».

Был человек. И умер для меня.
И знаю, вспоминать о нем не надо.
Концу всегда, как смерти, сердце радо —
Концу земной любви — закату дня.
Уснувшего я берегу покой.
Да будет легкою земля забвенья!
Распались тихо старой цепи звенья...
Но злая жизнь меня свела с тобой.

Не баллада о русалке, а этот удивленно-холодный, огорченно-пламенный вопрос «Ты любишь?» есть легенда о любви. Не Аньес и не Светлана, не Астарта и не Магдалина, поклоняющаяся Христу, и не Мария, встречающая ангела, знают тайну любви. Теперь можно верить Гиппиус, что «душа одна — любовь одна» — не риторика, а лишь возможная у всякого поэта литературная неудача. Торжественностью, приличествующей событию, начинается стихотворение:

Был человек. И умер для меня.

И сейчас же следует захватывающее дух откровение о сердце, радующемся концу земной любви, как смерти. Разве сердце радуется концу любви и смерти? Пожал плечами известный критик и назвал Гиппиус «чертовой куклой». Дневное сердце не знает такой странной радости, а ночное знает. Закрепить подобное откровение навеки, сказать твердо: сердце радуется смерти; сердце радуется концу любви, как это сделал критик, — нельзя, кощунственно. Но за длинным днем борьбы мужского и женского есть мгновение сумерек, посвященных той зыбкой серьезности, которая томит и окрыляет оставшегося — после смерти одного из двух. Элементарный пафос завоевания, наслаждения или поклонения уполз в свою пещеру. Жестокое самлюбие борца уступило место бесцельному хороводу радостей-теней и желаний-теней. Поражение не горше победы, и победа томит неудовлетворением, как поражение. Смерть влечет, как далекий огонь, как ночная поверхность реки; умершей любви можно сказать: «Христос воскрес!», почти не разумея смысла таинственных этих слов.

Спокойной и полной достоинства и женственности благодарностью звучат слова: «Уснувшего я берегу покой, / Да будет легкою земля забвенья!» Трагическая, с точки зрения положительной религии почти нигилистическая, ясность пресекает речь, преграждая путь к жалобам или надеждам напоминанием о вековечном законе жизни, заполняющей пустоту, чуть распадутся старой цепи звенья, — как бы *тихо*, навеки тихо, до смерти тихо, они ни распались:

Но злая жизнь меня свела с тобой.
Когда бываем мы наедине —
Тот, мертвый, третий — вечно между нами.
Твоими на меня глядит очами,
И думает тобою — обо мне.
Увы, в тебе, как и, бывало, в нем,
Не верность — но и не измена...
И слышу страшный томный запах тлена
В твоих речах, движениях — во всем.
Безогненного чувства твоего
Чрез мертвеца в тебе — не принимаю;
И неизменно строгим сердцем знаю,
Что не люблю тебя, как и его.

Об одном ли человеке или о двоих здесь идет речь — кто скажет? Да и не все ли равно!

Любовь ко всему, сознание кровной своей связи с деревом, тварью и звездами не стояло поперек дороги Гиппиус, здесь «тупо-злое тело» уступило без сопротивления. Гиппиус лишена дара брать мир непосредственно. Богатства земли остаются неза-

меченными ею. Может быть, оттого так однотонны ее стихотворения. Силы земли, течения ее соков касаются ее, но лицо мира скрыто навсегда. Она иссушена многолетним спором духа с самим собою и неустанным принуждением. За образами деревьев, трав, ночей и вод у Гиппиус всегда шевелится мысль. Но не так, как в прозе. Там непрозрачная кора бытия отстаёт от непрозрачной же и нагой выдумки. Здесь дождь, звезды, ветер, освещенное окно, туго натянутые струны вожжей как бы добровольно отказываются от своего бытия и служат мысли, как слуги, принимают ее в себя, как сосуд — вино. Это не символизм, который вообще чужд творчеству Гиппиус так же, как ей чужда и непосредственность здорового реализма. У Гиппиус сосуд (явления) прозрачен и бесцветен; его окрашивает вино (мысль). Символизм же знает *двойную* игру красок, и без этой двойственности нет символизма: сосуд (явления) окрашен по-своему, вино (мысль) — по-своему, и отливы двух цветов должны совпасть таким образом, чтобы в их согласном свете угадалось третье, то, что за явлением и за мыслью. Гиппиус обесцветила бытие потому, что и себя лишила оттенков — возраста, опыта и ответов миру. Ее поэзия — вне возрастов, в ней нет воспоминаний ни о детстве, ни о девической манере воспринимать явления. Она сама признается в этом в стихотворении «Не март девический». Во взглядах ее на быт, на людей, на доступные ей возможности вечно слышен горький, неженский скептицизм умного, любящего разрушение человека. Схемы, по которым она, точно по висячим мостам, пробирается к ядру мира, только издали кажутся мостами. На самом деле они обрываются на высоте, и пройти по ним никуда нельзя.

III

Потом душа бездумная — опять слепая сила —
Привычное презрение и холод возрастала.

Вторая ступень приближения к Богу — обуздание холодной, презирающей и бездумной души. В течение этой работы, очевидно, не законченной, жалоба покрывает жалобу, призыв ложится на призыв, вместе с тем ни один отдел поэзии Гиппиус не отличается такую однотонностью. Не всегда однотонность обозначает повторение, ничету. Человек, бьющий камень, методически подымает и опускает руку, вооруженную молотом, но это однообразие не утомляет зрения. Душа Гиппиус вечно судима ею за бессилие, часто — за злое бессилие. Она прикована на берегу,

а глаза жадно тянутся к морю. Ей близок Бог, но нет сил молиться. Она знает истину, но не находит для нее слов. Пока Гиппиус не перенесла в свою поэзию христианский словарь, ее желания определялись, может быть, расплывчато, но тем не менее убедительно:

Люблю непостижимое,
Чего, быть может, нет... —

волнует, как волнуют то сладкие, то пряные, то преувеличенно-детские песни романтиков.

Warum Schmachten?
Warum Sehnen?
Alle Tränen
Ach sie trachten
Nach der Ferne,
Wo sie wännen
Schön're Sterne! *

Или, как определял Фр. Шлегель: «Wer etwas Unendliches will, der weiss nicht, was er will; aber umkehren lässt sich dieser Satz nicht» **. И Гиппиус не знает, чего ей надо. Белые одежды, которые Дух дает побеждающему? На наш взгляд, христианская символика лишь притупляет острие ее молитвы. Незнание того, чего надо, когда-то рассердившее или развеселившее Михайловского, есть скорее признак силы, чем слабости, признак изощренности внутреннего зрения, а не слепоты. И, признав эту черту свойственной Гиппиус, так легко понять ее борьбу с косной душой. Без цели, без данного направления, *пребывая на месте*, хочет дух полета — и все кажется ему препятствием, и далекое, и ближайшее. Для победы нужна цель. Для взлета — направление. Для достижения нужно умело ограничить себя, ибо и само достижение, и цель, и победа — односторонни и противоречат бездейственной мудрости совершенного созерцания. Не зная, куда двинуться, Гиппиус винит косность души:

В прахе душном, в дыме пыльном
К последней гибели спеша,
Напрасно в ужасе бессильном
Оковы жизни рвет душа.

* Зачем томиться? Зачем тосковать? Все слезы. Ах, они стремятся вдаль и мечтают о прекрасных звездах (Фр. Шлегель).

** «Кто хочет чего-то бесконечного, тот не знает, чего он хочет; но изменить этого нельзя» (нем.).

Она хочет звуков, но боится созвучий. Все горести кажутся ей понятными, все радости — скучными. «Все просто и мертво, ни страшного, ни тайного нет в жизни ничего». Мечты ее «бескрылые». В «мятежности» ее «нет свершений». Ее «сердце, как игла». Темные мысли «подобны серым птицам». «Мысли сухие, мысли без воли — нецарственный путь». Душа «пребывает в бессовестной и жалкой низости». Она «сера, как пыль, как прах земной»,

И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мною.

Еще беспощаднее подбираются эпитеты: душа «шершавая», «колючая»; она «холодна, как змея», «неповоротлива», «тупа», «тиха». К ней «нет доступа».

Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа,
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа.

IV

Разум свой Гиппиус называет огненным и беспощадным. Она знает и жар его, и тишь, и оба эти полюса равно опасны ее святыне. Любовь одною своею силою не смирит разума.

Но в третий час к Создавшему, приникнув, воззови,
И сам придет защитником рожденной им любви.

Поединка еще не было. И последнее испытание опаснее двух предыдущих.

Теоретическая мысль Гиппиус не привела ее ни к каким, хотя бы эстетически-ценным, результатам. Ее попытки обосновать христианство лишь вредили интересующему ее делу. Разъедающая, рассудочная трезвость причинила ей немало горя. Если историю развития Гиппиус изобразить условно прямой линией: ненависть к себе, отвращение к повседневности, требование «чуда», отречение от своей воли, соблазн небытия в робком, непродуманном буддизме и, наконец, торжество христианских надежд на обновление, то эта прямая не раз пересечется более глубокими бороздами; их провел «разум», нарушив навсегда ту цельность, о которой мечтает поэтесса. В жизни ее духа был момент, когда прямая линия роста могла преломиться и, вместо

едва заметной борозды, вместо двух-трех дисгармонирующих с целым стихотворений, мы бы увидели более сложный, хотя и более спутанный рисунок.

Жестокое и холодное раздумье опустошает, как мороз, и первыми гибнут те «лютики» луговые, которые переросли своих братьев. «Мы — ломче, мы — ломче», — предсказали они сами свою судьбу.

Кое-чем Гиппиус все-таки обязана тому же самому «разуму», с которым она так решительно и беспощадно враждует. Он дал ей силу отбросить от себя — в поэзии, по крайней мере, — сор «привычек бытия», слабостей самообманов, тщеславия, жадности, зависти и самолюбивых надежд. Внимательно исследуя первую книгу ее стихотворений, то и дело наталкиваешься на следы очищающей и благородно-опрощающей работы разума. Но дальше его лезвие направляется самовольно уже не против сорных трав, а против плодовых и наиболее для писательницы драгоценных деревьев. Наряду с последними, освященными любовью и доверием, порождаются сомнительные растения-чудовища, и вытягивают корнями свои соки, питавшие землю.

Федор Павлович Карамазов, почти все бытие которого обращено в сторону порожденных разумом чудовищ, двумя словами вводит нас в положение человека, опутанного корнями этих холодных мыслей, паразитов и владык в одно и то же время:

- Иван, говори, есть Бог или нет?...
- Нет, нету Бога.
- Алешка, есть Бог?
- Есть Бог.
- Иван, а бессмертие есть, ну, там какое-нибудь, ну, хоть маленькое, малюсенькое?
- Нет и бессмертия.
- Никакого?
- Никакого.
- Алешка, есть бессмертие?
- Есть.
- И Бог и бессмертие?
- И Бог и бессмертие.
- Гм... *Вероятнее, что прав Иван...*

Точка зрения Карамазова очень заманчива по богатству выводов и возможностей, хотя, нужно признаться, для человека, обращенного лицом к Небу и желающего созерцать Небо во что бы то ни стало, нет ничего опаснее этого унылого, скучного и тем не менее неуступчивого голоса:

- *Вероятнее, что прав Иван.*

Чтобы заглушить его, можно призвать на помощь жалобы, рыдания и покаянные самообличения... Иное дело ум «свободный», или, еще лучше, отравленный «ядами материализма». Для него *вероятнее* Федора Карамазова вовсе не нижняя, против Ивана, ступень. Иван обегает мыслью один круг — отрицания. Алеша тоже только один — веры. А Федор Карамазов принужден одновременно посылать токи высокого напряжения по двум несходным проводам, жить двумя жизнями и бояться двух опасностей, ибо именно карамазовская, впоенная большими страстями и похотями, серьезность умеет взвешивать опасности двойного пути.

Гиппиус обыкновенно торопится уйти от того, что она называет своим «разумом», страшась его работы и пренебрегая ею, поскольку это возможно под кровом веры.

Время срезает цветы и травы
У самого корня блестящей косой;
Лютик влюбленности, астру славы...
Но корни все целы — там под землей.
Жизнь и мой разум, огненно-ясный!
Вы двое — ко мне беспощадней всего:
С корнем вы рвете то, что прекрасно,
В душе после вас — ничего, ничего!

Когда пришло время молитвы, это «ничего» стало называться самым большим, едва ли не смертным грехом. Но был момент, когда замирание жизни в буддизме уже заканчивалось, а христианское просветление еще не наступило — был странный момент неустойчивого равновесия, отравивший, вероятно, навсегда веру Гиппиус возможностью совершенно иного, не христианского и не языческого, миропонимания. К 1900 и 1901 гг. относятся две пьесы Гиппиус — «Последнее» и «На дне», дающие нам право утверждать, что не весь ее внутренний опыт вошел в схему полярности, в эти «да» и «нет», которые, как электричество, бегут по проводам «не слиты — сплетены», и когда сольются, то «смерть их будет — Свет». Эти моменты совершенно особого, своего взгляда на вещи не поддались, вероятно, ковке, из них не удалось ничего сделать ни для себя, ни для других, и потому они остались погребенными в трех-четырех стихотворениях. Грехи пригодились. Ведь жалобы на мертвенность и на уныние составляют добрую половину поэзии Гиппиус. Если бы атмосфера костности не угнетала ее так сильно, у нее не было бы поводов для столь жарких молитв. Таким образом, зло было оправдано и узаконено если не перед лицом Бога, то перед лицом поэзии. «Про-

зрения» же не поддались, не захотели уложиться в предписанные им схемы. «Последнее» не без горечи говорит о том, что люди бывают порой всему, как дети, рады и «в легкости своей живут веселой». Открывать им дверей сознания не стоит: оно приносит лишь боль. Дав в смиренной гордости обет молчанья,

В безмолвьи прохожу я мимо, мимо,
Закрыв лицо, — в неузнанные дали,
Куда ведут меня неумолимо
Жестокие и смелые печали.

Еще решительнее и своеобразнее намечает крайности опыта и их соединение «На дне». Боль и радость — одно. Победу и поражение можно любить равно. «Тебя приветствую, мое поражение». «В последней жестокости есть бездонность нежности, и в Божией правде — Божий обман».

Люблю я отчаяние мое безмерное,
Нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
Надо всякую чашу пить — до дна.

«Как все» (меоническая молитва), «Алмаз» первого тома, «Они» второго и отдельные строки многих пьес относятся к той же категории — отвергнутых, сознательно откинутых мыслей. Удалось ли Гиппиус победить их? Она сама, с глубокой трогательностью и жалобой, признается, что не удалось:

Покой и тишь во мне:
Я волей круг свой сузил.
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел.

V

Как в приведенном выше стихотворении «Ты любишь?», так и в только что упомянутых смешались все усвоенные Гиппиус условности и разграничения. «Ты любишь?» — о плотской ли любви идет речь или о неслиянности красивых баллад? «Безмерное отчаяние» на самом деле пришло от разума, от плоти, от греха или от души? Найти «в Божией правде — Божий обман» не значит ли это бунтовать, а ведь бунтуют только рабы, по терминологии Мережковского? Не все ли равно! Все эти вопросы бессильно падают перед фактом существования лучших и бесцельных, сложенных по необходимости, а не ради мирских, человеческих,

самолюбивых целей стихотворений. Подлинная любовь не знает, где плоть и где дух, и если делит, то она уже не любовь, а равнодушно-похотливая блудница. Любовь родилась на свет раньше мировой разрозненности, и только после того, как любовь умирает, разрозненность становится силой. Так же глядит на мир и отчаяние. Великая сосредоточенность может увести от земных свершений. Отчаяние может разбросать явления, как брызги воды, но дробления по категориям не знают ни страсть, ни любовь, ни отчаяние, ни сосредоточенность. Дух от плоти, разум от души, дух от разума можно отделять лишь при неторопливом, бездеятельном (в высшем смысле этого слова), досадливом наблюдении, скорее — надзоре за порядками в нашем «доме», и трещины в стенах его, если они действительно существуют, не требуют наших поправок, а могут лишь служить основанием для совсем иной работы, называть которую сейчас не входит в мои намерения.

